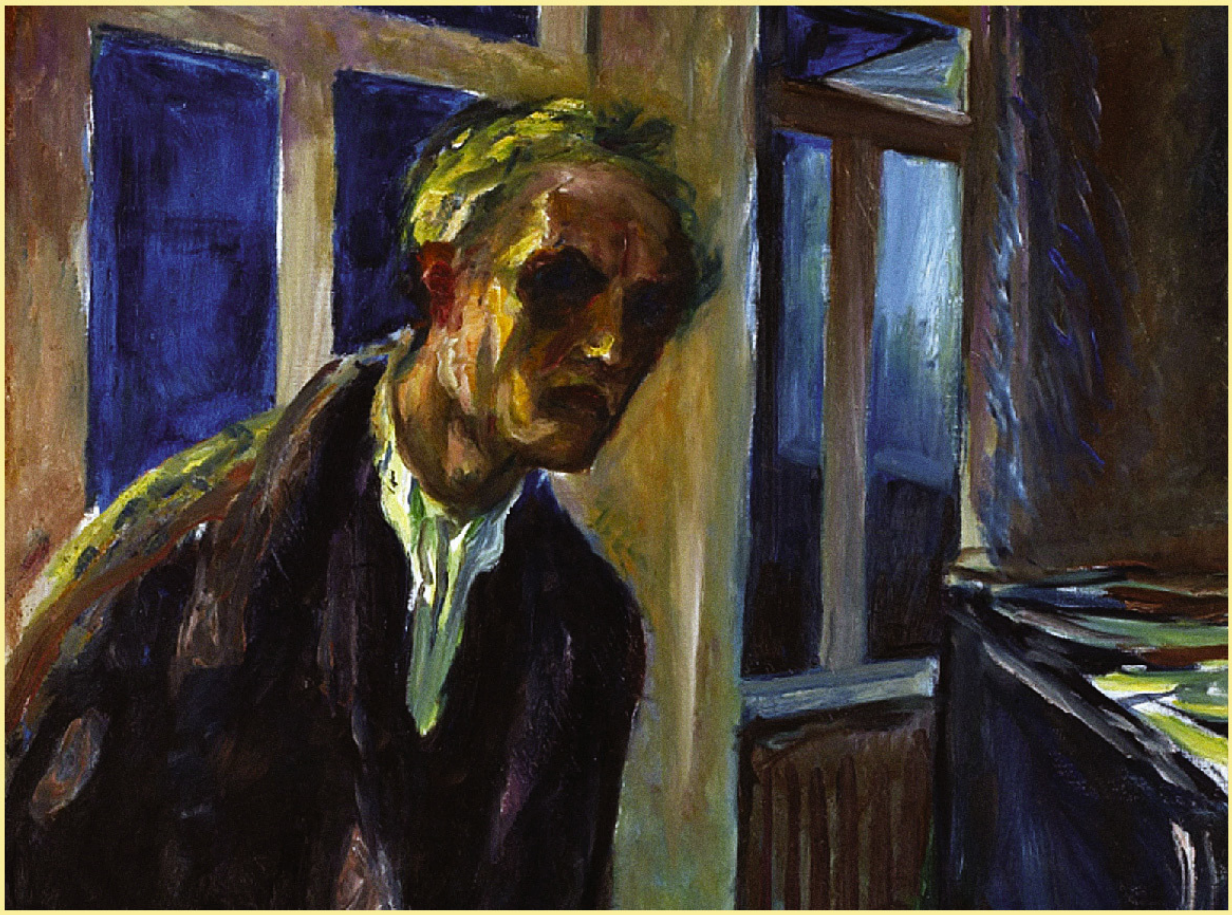

КНУТ ГАМСУН

ГОЛОД

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Эксклюзивная классика (АСТ)

Кнут Гамсун

Голод

«АСТ»
1890

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44

Гамсун К.

Голод / К. Гамсун — «АСТ», 1890 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-107197-4

«Голод» (1890) — во многом автобиографичный роман Кнута Гамсуна, принесший автору мировую славу. Страшная в своей простоте история молодого непризнанного писателя, день за днем балансирующего на грани голодной смерти. Реальность и причудливые, болезненные фантазии переплетаются в его сознании, мучительно переживающем несоответствие между идеальным и материальным миром…

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-17-107197-4

© Гамсун К., 1890
© АСТ, 1890

Содержание

Часть первая 5
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Кнут Гамсун
Голод

Часть первая

Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает на человека свою печать…

Я лежу без сна у себя на чердаке и слышу, как часы внизу бьют шесть; уже совсем рассвело, началась беготня вверх и вниз по лестнице. У двери стена моей комнаты оклеена старыми номерами «Утренней газеты», и я четко вижу объявление смотрителя маяка, а чуть левее – жирную, огромную рекламу булочника Фабиана Ольсена, расхваливающую свежеиспеченный хлеб.

Едва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня. В последнее время жилось мне довольно трудно; мои пожитки помаленьку перекочевали к «Дядюшке Живодеру», я стал нервен и раздражителен, несколько дней мне пришлось даже пролежать в постели из-за головокружения. Временами, когда везло, мне удавалось получить пять крон за статейку в какой-нибудь газете.

Становилось все светлей, и я принялся читать объявления у двери; я даже мог разобрать тощие, похожие на оскаленные зубы буквы, которые возвещали, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший сазан». Это объявление долго занимало меня, и когда я, встав, начал одеваться, часы внизу пробили восемь.

Я открыл окно и выглянул во двор. Мне видна была веревка для сушки белья и пустырь; в отдалении чернел скелет сгоревшей кузницы, где возились какие-то люди, разгребая угли. Я облокотился о подоконник и смотрел вдаль. Без сомнения, день будет ясный. Пришла осень, дивная, прохладная пора, все меняет цвет, увядает. На улицах уже поднялся шум, он манит меня выйти из дому; пустая комната, где половицы стонали от каждого моего шага, походила на трухлявый, отвратительный гроб; здесь не было ни порядочного замка на двери, ни печки; по ночам я обыкновенно клал носки под себя, чтобы они хоть немного высохли к утру. Единственным моим утешением была маленькая красная качалка, в которой я сидел вечерами, подремывал и думал о всякой всячине. Когда поднимался сильный ветер и входная дверь внизу бывала открыта, пол и стены пронзительно стонали на все лады, а в «Утренней газете» у двери появлялись щели длиною с мою руку.

Я отошел от окна и принялся искать в узелке, что лежал в углу, подле кровати, чем бы позавтракать, но ничего не нашел и снова вернулся к окну.

«Бог весть, – думал я, – удастся ли мне вообще приискать себе занятие!» Столько было отказов, полуобещаний, решительных «нет», взлелеянных и обманутых надежд, новых и новых попыток, которые всякий раз кончались ничем, что я совсем утратил решимость. Наконец я попытался поступить в кассиры, но опоздал; и, кроме того, я не мог бы внести залога в пятьдесят крон. Вечно мне что-либо мешало. А еще я просился в пожарную команду. Нас там стояло с полсотни человек, и каждый выпячивал грудь, чтобы произвести впечатление силача и редкого смельчака. Меж нами расхаживал наниматель, осматривал претендентов, щупал мускулы, расспрашивал, а проходя мимо меня, только головой покачал да обронил, что люди в очках для этого дела не годятся. Я пришел снова уже без очков и стоял, насупившись, стараясь придать своему взгляду остроту ножа, но он снова прошел мимо меня и только улыбнулся, потому что узнал меня. В довершение всех зол, мое платье износилось до такой степени, что я уже не казался работодателям приличным человеком.

Как медленно и неуклонно катился я под гору! Под конец у меня не осталось решительно ничего, даже гребенки или хотя бы книжки, которой я утешился бы в грустную минуту. Летом я всякий день уходил куда-нибудь на кладбище или в парк, где стоит замок, сидел там и писал статьи для газет, столбец за столбцом, и чего только не было в этих статьях, сколько удивительных выдумок, причуд, капризов моей беспокойной фантазии! Отчаявшись, я брал самые отвлеченные темы, эти статьи я сочинял много мучительных часов, и никто не хотел их печатать. Закончив одну, я тотчас принимался за другую и редко приходил в уныние от редакторского отказа. Я старался убедить себя, что когда-нибудь мне повезет. И действительно, по временам, когда счастье мне улыбалось и я сочинял что-нибудь путное, мне платили пять крон за работу, которая отнимала полдня.

Я снова оторвался от окна, подошел к умывальнику и смочил водой колени своих лоснившихся брюк, чтобы они казались черными и стали как будто новее. Сделав это, я, по обыкновению, сунул в карман бумагу и карандаш и вышел за дверь. По лестнице я спустился тихонько, чтобы не привлечь внимания хозяйки; срок уплаты за квартиру истек несколько дней назад, а платить мне было нечем.

Пробило девять часов. Грохот экипажей и людские голоса витали в воздухе – то был стоустый утренний хор, раздававшийся под стук шагов пешеходов и щелканье извозчичьих кнутов. Это шумное движение тотчас оживило меня, и я стал чувствовать себя уверенней. Менее всего я собирался просто вот так гулять с утра на свежем воздухе. На что был моим легким воздух? Я чувствовал себя неодолимым, как исполин, мог упереться плечом в повозку и остановить ее. Мной овладело удивительное, чудесное чувство, какое-то светлое удовлетворение. Я смотрел на встречных, читал вывески на домах, ловил на лету взгляды, брошенные на меня из проносившихся мимо карет, замечал всякую мелочь, не упускал ни малейшей случайности, что попадалась мне на пути и сразу же исчезала.

Какой дивный денек, вот бы еще поесть хоть немного! Я проникся этим радостным утром, счастье переполняло меня, и я вдруг ни с того ни с сего принялся напевать. Возле мясной лавки стояла женщина с корзинкой и выбирала колбасу к обеду; когда я проходил мимо, она взглянула на меня. Изо рта у нее торчал лишь один зуб. В последние дни я стал таким нервным и впечатлительным, что лицо этой женщины показалось мне отвратительным; длинный желтый зуб походил на мизинец, торчащий изо рта, а когда она подняла на меня глаза, взгляд ее еще был полон мыслей о колбасе. Мне сразу расхотелось есть, тошнота подкатила к горлу. Дойдя до рынка, я напился воды из-под крана; потом поднял голову и взглянул на колокольню храма Спасителя – часы показывали десять.

Я долго еще бродил по городу, ни о чем не думая, потом безо всякой надобности постоял на каком-то углу и свернул на боковую улицу, хотя у меня не было там никакого дела. Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей; воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто.

Минут десять впереди меня шел хромой старик. В одной руке он нес узел, и все тело его напрягалось от усилий ускорить шаг. Я слышал, как тяжко он дышал, и подумал, что мог бы понести его узел; однако я не попытался догнать его. Близ Гренсена я встретил Ханса Паули, он поклонился и быстро прошел мимо. Почему он так спешил? Ведь я и не думал выпрашивать у него крону, я даже хотел при первой возможности вернуть ему одеяло, которое взял у него несколько недель назад. Как только я мало-мальски выкарабкаюсь, никто не сможет сказать, что я не отдал одеяла; пожалуй, еще сегодня начну писать статью о роли преступлений в будущем, или о свободе воли, или вообще о чем-нибудь важном и получу за нее по меньшей мере десять крон… Я вдруг почувствовал потребность немедленно приняться за дело, потому что мысли переполняли меня; я решил отыскать подходящее местечко в парке и даже не помышлять об отдыхе, покуда статья не будет кончена.

Но старый калека все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце концов меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною.

Казалось, этому не будет конца; может быть, он шел как раз туда же, куда и я, а если так, он все время будет маячить у меня перед глазами. Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну, а потом он вскидывал свой узел повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого несчастного калеку и проникаюсь все большим и большим ожесточением против него; я чувствую, как он мало-помалу портит мое радостное настроение и вместе с тем как бы омрачает чистое, прекрасное утро своим уродством. Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собою весь тротуар. Когда мы поднялись на холм, я не пожелал больше терпеть это и остановился у витрины, дожидаясь, покуда он уйдет. Когда через несколько минут я двинулся дальше, этот человек снова оказался впереди меня, – он тоже останавливался. Не долго думая, я в три-четыре больших шага настиг его и хлопнул по плечу.

Он остановился как вкопанный. Мы пристально посмотрели друг на друга.

– Подайте, сколько можете, на молоко! – сказал он наконец и склонил голову набок.

Ну вот, в хорошенькое я попал положение! Я пошарил в карманах и сказал:

– Ах, на молоко… Гм!.. Но ведь в наше время деньги на улице не валяются, а я не знаю, крайняя ли у вас нужда.

– Я не ел со вчерашнего дня, как ушел из Драммена, – сказал он. – У меня нет ни эре, и я еще не нашел работы.

– Вы ремесленник?

– Да, я скорняк.

– Как?

– Скорняк. Впрочем, умею еще шить сапоги.

– Это меняет дело, – сказал я. – Погодите-ка здесь минутку, а я сбегаю за деньгами и дам вам несколько эре.

Я что было духу побежал на Пилестредет, где в одном из домов, на втором этаже, жил ростовщик; впрочем, мне еще не приходилось у него бывать. Войдя в подворотню, я быстро снял жилет, свернул его и сунул под мышку; потом поднялся по лестнице и постучал в дверь. Войдя, я поклонился и бросил жилет на прилавок.

– Полторы кроны, – сказал ростовщик.

– Хорошо, благодарю вас, – отвечал я. – Не будь он для меня слишком узок, я, конечно, не расстался бы с ним.

Взяв деньги и квитанцию, я отправился назад. В сущности, это была великолепная мысль – заложить жилет; ведь у меня еще останутся деньги на плотный завтрак, а к вечеру будет готова моя статья о роли преступлений в будущем. Мне сразу стало казаться, что жизнь не так уж мрачна, и я поспешил к старику, чтобы избавиться от него.

– Пожалуйста! – сказал я ему. – Счастлив, что вы первым делом обратились ко мне.

Он взял деньги и начал меня разглядывать. Чего он на меня уставился? Мне показалось, что он особенно пристально глядит на мои колени, и его бесстыдство меня взбесило. Неужели этот бродяга думает, что, если я так одет, меня можно почитать за нищего? Ведь я уже почти начал писать статью за десять крон. И вообще будущее мне не страшно, на мою долю хватит. Что тут такого, если в этот ясный день я дал немного денег незнакомому человеку? Его взгляд мне не нравился, и я решил, прежде чем уйти, сделать ему внушение. Я пожал плечами и сказал:

– Любезный, у вас отвратительная привычка таращить глаза на колени человека, который дал вам целую крону.

Он прислонился к стене, закинул голову и разинул рот. В мозгах этого нищего шевелилась какая-то мысль, он, конечно, подумал, что я хочу как-нибудь над ним посмеяться, и протянул мне деньги обратно.

Я стал топать ногами и требовать, чтобы он оставил деньги у себя. Уж не думает ли он, что я хлопотал по-пустому? В конце концов я попросту должен ему эту крону, я вспомнил этот старый долг, а он имеет дело с порядочным человеком, честным до мозга костей. Словом, это его деньги… Ах, не стоит благодарности, я очень рад. До свидания!

И я ушел. Наконец-то этот назойливый калека отвязался от меня, теперь мне никто не помешает. Я снова пошел на Пилестредет и остановился у продуктового магазина. Витрина была завалена съестными припасами, и я решил войти и прихватить чего-нибудь с собой.

– Кусок сыру и французскую булку! – сказал я и бросил на прилавок полкроны.

– Сыру и хлеба на все деньги? – насмешливо спросила продавщица, не глядя на меня.

– Да, на все пятьдесят эре, – невозмутимо ответил я.

Я получил покупку, почтительно поклонился старой толстой продавщице и быстро зашагал к холму, где был парк. Там я отыскал скамейку и с жадностью принялся за еду. Мне сразу полегчало; давно уже не было у меня столь обильной трапезы, и мало-помалу я успокоился, почувствовал облегчение, как бывает, когда выплачешь все слезы. Вскоре я совсем воспрянул духом; теперь мне уже мало было написать статью на такую простую и нехитрую тему, как роль преступлений в будущем, к тому же это всякий мог сам предугадать, стоило просто-напросто заглянуть в историю; я же чувствовал себя способным на гораздо большее свершение, мне хотелось преодолевать необычайные трудности, и я решил написать сочинение в трех частях о философском познании. Разумеется, я не премину разнести в пух и прах некоторые из Кантовых софизмов… Я хотел вынуть письменные принадлежности и приступить к работе, но тут обнаружилось, что у меня нет карандаша, я забыл его в лавочке у ростовщика – ведь карандаш лежал в кармане жилета.

Господи, до чего же мне все-таки не везет! Я выругался несколько раз, встал со скамейки и принялся ходить взад-вперед по дорожкам. Вокруг было тихо; в отдалении, подле королевской беседки, какие-то няньки катали младенцев в колясках, а больше нигде не было ни души. Я был очень расстроен и как безумный бегал вокруг скамейки. Со всех сторон на меня обрушивались беды! Мне нельзя написать философское сочинение в трех частях лишь потому, что в кармане у меня нет грошового карандаша! А что, если вернуться на Пилестредет и взять карандаш? Тогда я все-таки успею порядочно написать, прежде чем гуляющие хлынут в парк. Ведь от этого сочинения о философском познании зависело так много – как знать, быть может, счастье всего человеческого рода. И я полагал, что оно окажется весьма полезным многим молодым людям. Если поразмыслить хорошенько, то мне вовсе незачем нападать на Канта: этого легко избежать, стоит только чуть-чуть уклониться в сторону, когда речь пойдет о времени и пространстве; зато уж Ренана, этого старого священника, я не пощажу… Но так или иначе, нужно было написать определенное количество столбцов: за квартиру я не заплатил, хозяйка пристально смотрела на меня по утрам, когда я встречал ее на лестнице, и это мучило меня весь день, всплывало даже в самые радостные мгновения, когда ни одна черная дума не омрачала мою душу. Надо было положить этому конец. Я быстрым шагом покинул парк и отправился к ростовщику за своим карандашом.

Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю отчего, быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, – лишь от тайной мысли. Или же оттого, что я коснулся ее руки? Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней?

Я остановился и снова пропустил ее вперед, мне невозможно было идти дальше, все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с каран-

дашом, и еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход, я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал, – имя, скользящее и волнующее: Илаяли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско:

– Вы потеряете книгу, фрекен.

Говоря это, я слышал стук своего сердца.

– Книгу? – спрашивает она свою спутницу. И идет дальше.

Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его; волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало, и я корчил за спиной дамы преглупые рожи, а обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее, чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.

Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины, шагнул ей навстречу и повторил:

– Вы потеряете книгу, фрекен.

– Но какую книгу? – спрашивает она в испуге. – О какой он книге говорит?

И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною; у нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаясь понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице ее одно выражение сменяется другим, я слышу, как тяжко она дышит; и даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза.

– Не обращай на него внимания, – говорит ее спутница и тянет ее за руку. – Ведь он же пьян! Разве ты не видишь, что этот человек пьян?

Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше в сторону Тиволи; на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже, оттуда высунулась служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания, я был в ясном уме и твердой памяти, все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они – сестры.

Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли тою же дорогою обратно, мимо меня, свернули на Университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше докучать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду.

У большого четырехэтажного дома под номером два они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх, на окна. И тут совершается чудо: там, наверху, колышутся занавески, потом окно отворяется, оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «Илаяли – шепчу я и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза; это длится с минуту; от окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью; я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движение ее плеча словно знак мне; всем своим существом я ощутил этот чудесный привет; и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.

Я не осмеливался оглянуться назад и не знал, подходила ли она еще раз к окну; раздумывая об этом, я все больше беспокоился и не находил себе места. Быть может, в этот самый миг она наблюдала за каждым моим движением, и мне было невыносимо знать, что за мной следят. Я держался как можно прямее и шел не останавливаясь; ноги подо мной дрожали, походка стала неверной, именно потому, что я хотел идти как можно красивее. Стараясь казаться спокойным и равнодушным, я нелепо размахивал руками, сплевывал и высоко задирал нос; но тщетно. Я все время чувствовал испытующий взгляд у себя за спиной, и по телу моему пробегал холодок. Наконец я скрылся в боковой улочке, откуда направился на Пилестредет, чтобы взять свой карандаш.

Мне не стоило ни малейшего труда получить его обратно. Ростовщик сам принес мне жилет и попросил меня тут же обшарить все карманы; я нашел еще несколько закладных квитанций, сунул их в карман и поблагодарил любезного хозяина за его предупредительность. Он нравился мне все больше и больше, и мне тут же захотелось произвести на него хорошее впечатление. Я сделал несколько шагов к выходу, но опять вернулся к прилавку, словно забыл что-то; мне казалось, что я обязан объясниться, сообщить ему подробности, и я стал тихонько напевать, чтобы привлечь его внимание. Потом я поднял карандаш, который держал в руке.

– Мне и в голову не пришло бы тащиться в такую даль за этим несчастным карандашом, – сказал я, – но тут дело другое, совсем особое дело. Хоть у этого огрызка карандаша и жалкий вид, благодаря ему я стал тем, что я есть, нашел, так сказать, свое место в жизни…

Я умолк. Хозяин подошел к самому прилавку.

– Вот как? – сказал он и с любопытством посмотрел на меня.

– Этим карандашом, – продолжал я невозмутимо, – написано мое трехтомное сочинение о философском познании. Неужели вы не слышали об этом?

И хозяину показалось, что он слышал имя, заглавие.

– Да, – сказал я, – это мое сочинение! Поэтому неудивительно, что я захотел получить назад этот огрызок карандаша: он имеет для меня слишком большую цену, он мне все равно что маленький друг. Я весьма благодарен вам за доброе отношение и не забуду этого; да, да, в самом деле, не забуду, честное слово, такой уж я человек, а вы этого вполне заслужили. До свидания! – Я пошел к двери с таким видом, словно мог вершить людские судьбы. Ростовщик дважды вежливо поклонился мне вслед, а я еще раз обернулся и сказал: «До свидания!»

На лестнице мне встретилась женщина с чемоданом. Ввиду моей важности она робко посторонилась передо мной, я же невольно стал шарить в кармане, чтобы дать ей что-нибудь: ничего не найдя, я понурил голову и прошел мимо. Немного погодя я услышал, как она стучится к ростовщику; на дверях у него была стальная решетка, и я тотчас узнал дребезжащий звук, когда ее коснулась человеческая рука.

Солнце светило с юга, было около полудня. Народу на улицах становилось все больше, наступало время гулянья, и толпы людей, раскланиваясь, с улыбками на лицах, словно волны

перекатывались по улице Карла-Юхана. Я весь съежился, сжался в комок и проскользнул мимо кучки знакомых, которые стояли неподалеку от университета и глазели на толпу. Потом я побрел на холм, в дворцовый парк, где предался глубоким раздумьям.

Как весело и легко все эти встречные вертят головами, как ясны их мысли, как свободно скользят они по жизни, словно по паркету бальной залы! Ни у кого из них я не прочел в глазах печали, их плечи не отягощает никакое бремя, в безмятежных душах, кажется, нет ни мрачных забот, ни тени тайного страдания. А я бродил среди этих людей, молодой, едва начавший жить и забывший уже, что такое счастье! Эта мысль не покидала меня, и я чувствовал, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Почему в последние месяцы мне живется так невыносимо тяжело? Мою неомраченную душу словно подменили, повсюду меня подстерегали горькие разочарования. Стоило мне присесть на скамейку или сделать хоть шаг, как на меня сразу обрушивались какие-то жалкие и ничтожные нелепости, они вторгались в мой внутренний мир, вынуждали понапрасну растрачивать силы. Собака, пробежавшая мимо, желтая роза в петлице у какого-нибудь господина могли пробудить во мне мысли и долгое время занимать меня. Что же со мной случилось? Неужто перст Божий коснулся меня? Но почему же меня? Почему не какого-нибудь другого человека, живущего хоть в Южной Америке, уж если на то пошло? Чем больше я думал, тем непостижимее и непостижимее представлялось мне, что именно я избран своенравным промыслом Божьим для его упражнений! И как странно, что во всем мире он отыскал именно меня; есть же книготорговец Паша и пароходный агент Хеннехен.

Я шел, размышляя об этом, и ничего не мог решить, я находил самые веские возражения против такого произвола со стороны Бога, заставляющего меня расплачиваться за грехи всех. Когда я отыскал свободную скамейку и сел, этот вопрос все еще занимал меня и мешал мне думать о другом. С того майского дня, когда начались мои злоключения, я чувствовал, как мною постепенно завладевает слабость, я стал слишком вялым, утратил волю и целенаправленность, словно стая каких-то мелких хищников вселилась в мое тело и грызла его изнутри. А что, если Бог попросту решил меня погубить? Я встал и принялся расхаживать подле скамейки.

В этот миг все мое существо было исполнено нестерпимейшего страдания; даже руки мучительно ныли, и я не знал, куда мне их девать. К тому же я недавно так плотно поел, что мне было не по себе, я объелся и, не находя себе места, топтался возле скамейки; люди скользили мимо меня, появлялись и исчезали как призраки. Наконец на мою скамейку сели двое мужчин, они закурили сигары и стали громко разговаривать; я рассердился и хотел сделать им замечание, но вместо того повернулся и пошел в другой конец парка, где отыскал пустую скамейку. Там я сел.

Мысль о Боге снова начала меня одолевать. Я находил, что с его стороны в высшей степени непростительно вмешиваться всякий раз, как я пытался найти работу, и расстраивать все дело, хотя я просил лишь хлеба насущного. Я определенно заметил, что стоит мне поголодать несколько дней подряд, как мой мозг начинает словно бы вытекать и голова пустеет. Она становится легкой и бесплотной, я больше не чувствую ее у себя на плечах, и мне кажется, что, когда я на кого-нибудь гляжу, глаза мои раскрываются до невероятности широко.

Я сидел на скамейке и думал обо всем этом, все горше сетуя на Бога за эти беспрерывные мучения. Если он, испытывая меня и воздвигая на моем пути препятствие за препятствием, хочет приблизить меня к себе, очистить мою душу, то смею его заверить, что он ошибается. Я поднял глаза к небу, чуть не плача от негодования, и раз навсегда высказал ему все, чтобы облегчить душу.

Вспомнилось то, чему меня учили в детстве, в ушах зазвучал негромкий голос, читающий Библию, и я начал разговаривать сам с собою, насмешливо покачивая головой. Зачем заботился я о том, что мне есть и пить, во что одеть бренную свою плоть? Разве Отец Небесный не питает меня, как питает птиц, и не оказал мне особой милости, избрав раба своего? Перст

Божий коснулся нервов моих и потихоньку, едва заметно, тронул их нити. А потом Господь вынул перст свой, и вот на нем обрывки нитей и комочки моих нервов. И осталась зияющая дыра от перста его, перста Божия, и рана в моем мозгу. Но, коснувшись меня перстом десницы своей, Господь покинул меня и не трогал более, и не было мне никакого зла. Он отпустил меня с миром, отпустил с открытой раной. И не было мне никакого зла от Бога, ибо Он – Господь наш во веки веков…

Ветер донес до меня музыку и пение студентов, – значит, был уже третий час. Я достал карандаш и бумагу, хотел написать что-нибудь, и вдруг из кармана у меня выпала книжечка с талонами на бритье. Я сосчитал талоны: их оставалось шесть.

– Слава Богу! – невольно воскликнул я. – Еще неделю-другую я могу бриться у цирюльника и иметь приличный вид!

Это маленькое достояние тотчас заставило меня воспрянуть духом; я тщательно разгладил талоны и спрятал книжку в карман.

Но писать я не мог. Сочинил несколько строк, а больше ничего не приходило в голову; мысли мои были где-то далеко, и я не мог сосредоточиться. Все меня рассеивало и отвлекало, со всех сторон подступали новые впечатления. Комары и мошки садились на бумагу и мешали мне; я дул на них, чтобы прогнать, дул во всю мочь, но напрасно. Эта мелюзга переворачивалась, жалась к бумаге, упиралась так, что тонкие лапки гнулись. Просто невозможно от них избавиться. Они всегда найдут, за что зацепиться, отыскивают шероховатости и неровности на бумаге и сидят до тех пор, покуда им самим не вздумается улететь.

Некоторое время эти маленькие кровососы занимали меня, я закинул ногу на ногу и довольно долго наблюдал их. А потом до меня донеслись звуки кларнета, и от этого мысли мои приняли новое направление. Досадуя, что я не могу написать статью, я сунул бумагу в карман и откинулся на спинку скамейки. В такие мгновения моя голова до того ясна, что меня посещают самые изощренные мысли, и при этом я нисколько не устаю. Я сижу, откинувшись назад, поглядываю на свою грудь, на ноги и вижу, как подрагивает моя нога от толчков крови. Я приподнимаю голову и все смотрю, и меня охватывает какое-то странное, небывалое ощущение; по нервам моим пробегает дивная волна, и словно трепетный свет вдруг вспыхивает во мне. Я гляжу на свои башмаки и как будто встречаюсь со старым другом, как будто какая-то частица моего существа вновь возвращается ко мне; чувство единения захлестывает мне душу, глаза наполняются слезами, и мои башмаки словно отдаются во мне тихим звоном. «Это слабость! – строго говорю я себе и, сжав кулаки, повторяю: – Слабость». И я принялся смеяться над этими нелепыми чувствами, я нарочно издевался над собой; я произносил твердые и здравые слова, крепко жмурился, чтобы прогнать слезы. И словно я никогда не видел своих башмаков, я начинаю присматриваться, как они выглядят, как меняются при всяком движении моей ноги и какая у них форма, как потерлась кожа, и обнаруживаю, что морщины и белесые швы придают им своеобразное выражение, что у них как бы есть лицо. Некая частица моего существа перешла в эти башмаки, от них на меня веяло чем-то близким, словно то было собственное мое дыхание…

Я долго предавался этим ощущениям, – наверно, не меньше часа. А потом на другой конец скамейки присел маленький старичок; садясь, он тяжело вздохнул и сказал:

– М-да-а-а, вот так-то!

Едва я услышал его голос, в голове у меня словно поднялся вихрь, я оставил башмаки в покое, и мне даже показалось, что смутное настроение, которое я только что пережил, было чем-то давним, с тех пор, пожалуй, прошел год или два, а теперь оно мало-помалу изглаживается из моей памяти. Я смотрел на старика. Какое мне было дело до этого маленького человечка? Ровным счетом никакого! Меня занимало лишь то, что в руке он держал газету, старый номер со страницей объявлений, и в нее, по-видимому, было что-то завернуто. Мной овладело любопытство, и я не мог оторвать глаз от газеты; мне пришла безумная мысль, что это замеча-

тельная газета, единственная в своем роде; мое любопытство возрастало, и я начал ерзать на скамейке. Там могли быть документы, опасные бумаги, выкраденные из какого-нибудь архива. И я стал думать о тайном замысле, о заговоре.

Старичок сидел тихонько и о чем-то размышлял. Почему он не держит газету, как все, а вывернул ее? Что это за козни? Он, по-видимому, не хотел ни за что на свете выпустить этот сверток из рук. Он, пожалуй, не смел даже положить его себе в карман. Я готов был дать голову на отсечение, что это был не простой сверток.

Я смотрел вдаль. Уже одно то, что не было ни малейшей возможности проникнуть в эту тайну, разжигало во мне любопытство. Я шарил в карманах, хотел предложить что-нибудь этому человеку, вступить с ним в разговор, нащупал книжечку с талонами, вынул и тут же снова спрятал ее. Вдруг я осмелел, похлопал себя по пустому боковому карману и сказал:

– Не угодно ли сигарету?

Спасибо, он не курит, – пришлось бросить из-за болезни глаз, он почти ослеп. Впрочем, большое спасибо!

– А давно ли у вас больны глаза? Наверное, вам совсем нельзя читать? Даже газет?

– Да, к сожалению, даже газет!

Он повернулся ко мне. Глаза его закрывали бельма, отчего они казались остекленелыми; у него был белый взгляд, неприятный до отвращения.

– Вы нездешний? – спросил он.

– Да… Но неужели вы не можете прочесть даже название газеты, что у вас в руках?

– С трудом… А я сразу понял, что вы нездешний: догадался по выговору. Это так просто, ведь у меня очень тонкий слух. По ночам, когда все спят, я слышу дыхание в соседней комнате… Но я вот что хотел спросить: вы где живете?

Ложь тотчас же возникла у меня в голове. Я солгал невольно, сказал без умысла и задней мысли:

– На площади Святого Улафа, дом два.

– Правда? А ведь я знаю на площади Святого Улафа каждый камень. Там есть фонтан, несколько фонарей, деревья, я все помню… Какой, вы сказали, номер?

Я решил положить этому конец, измученный навязчивой мыслью о газете, и встал. Тайна непременно должна была объясниться.

– Раз вам нельзя читать газеты, зачем же…

– Вы, кажется, сказали, что живете во втором номере? – продолжал он, не замечая моего волнения. – В свое время я знал всех жильцов в этом доме. Как зовут вашего хозяина?

Чтобы покончить с ним, я сказал первую попавшуюся фамилию, выдумал ее тут же, на месте, чтобы отвязаться.

– Хапполати, – сказал я.

– Да, Хапполати. – Он без запинки повторил эту трудную фамилию и кивнул.

Я с изумлением смотрел на него; он сидел с очень серьезным видом, и лицо у него было задумчивое. Не успел я произнести глупую фамилию, которая взбрела мне на ум, как человек освоился с нею и сделал вид, что слышал ее раньше. Тем временем он положил свой сверток на скамейку, и я чувствовал, как волна любопытства захлестывает меня. Я заметил, что на газете были два жирных пятна.

– А ваш хозяин не моряк? – спросил старичок, и в голосе его не было и тени насмешки. – Мне помнится, он моряк!

– Моряк? Виноват, должно быть, вы знаете его брата, а этот – агент, Ю.-А. Хапполати.

Я думал этим его сразить; но он охотно верил всему.

– Я слышал, он дельный человек, – продолжал свои расспросы старик.

– Да, смышленый малый, отличный делец, – ответил я, – агент по продаже всякой всячины: брусника из Китая, перо и пух из России, кожа, древесина, чернила…

– Хе-хе, черт его побери! – с живостью пре- рвал меня старик.

Это становилось забавным. Я увлекся и измышлял одну ложь за другой. Я снова сел, позабыл про газету, про таинственные бумаги, начал горячиться и перебивать собеседника. Доверчивость этого карлика пробудила во мне какую-то дурацкую наглость, хотелось немилосердно утопить его во лжи, сломить его сопротивление.

– А не приходилось ли вам слышать об электрическом молитвеннике, который изобрел Хапполати?

– Электри… как вы сказали?

– О молитвеннике с электрическими буквами, которые светятся в темноте! Это огромное дело с капиталом во много миллионов крон, работают словолитни и печатни, сотни механиков на большом жалованье, – семьсот человек, как я слышал.

– А я что говорил! – тихо сказал старик.

И умолк; он верил каждому моему слову не задумываясь. Это несколько разочаровало меня, я надеялся, что мои россказни приведут его в бешенство.

Я сплел еще две отчаянные байки, вошел в азарт и шепнул, что Хапполати целых девять лет был министром в Персии.

– Вы, пожалуй, и представить себе не можете, что это значит – быть министром в Персии? – спросил я. – Там министр важнее, чем у нас король, это почти все равно что султан, если вы знаете, кто это такой. Но Хапполати был на высоте и ни разу не оплошал.

И я рассказал об Илаяли, его дочери, фее, принцессе, которая имела триста рабынь и почивала на ложе из желтых роз; она была прекраснейшее существо, какое я видел, – покарай меня Бог, – равной ей я не встречал в жизни!

– Стало быть, она была так красива? – рассеянно спросил старик, потупив глаза.

– Красива? Да она прекрасна, соблазнительно нежна! Глаза как бархат, руки словно янтарь! Один взгляд ее искушал, как поцелуй, и когда она звала меня, ее голос, как струя вина, пьянил мою душу. Да и почему бы ей не быть столь прекрасной? Разве, по-вашему, она какая-нибудь конторщица или служащая из пожарного ведомства? Да она, скажу я вам, небесное существо, она подобна сказке.

– Да, конечно, – сказал он почти равнодушно.

Его спокойствие наскучило мне; я был опьянен собственным голосом и говорил совершенно серьезно. Я не думал больше о похищенных бумагах, о заговоре в пользу какого-нибудь иностранного государства; маленький, тощий сверток лежал между нами на скамейке, но у меня уже не было никакого желания заглянуть в него и узнать, что в нем содержится. Я был поглощен собственными россказнями, перед глазами у меня проносились изумительные образы, кровь бросилась мне в голову, и я вдохновенно лгал.

А старик как будто собрался уходить. Он привстал и, чтобы не сразу прервать разговор, спросил:

– Должно быть, у этого Хапполати огромное состояние?

Как мог этот слепой, отвратительный старик распоряжаться чужой фамилией, которую я выдумал, так, словно ее можно было прочесть на любой вывеске в городе?

Он ни разу не запнулся, не пропустил ни одного звука; фамилия запечатлелась в его памяти и прочно укоренилась там. Я досадовал и сердился на этого человека, которого ничто не могло смутить или обескуражить.

– Не знаю, – ответил я вдруг. – Положительно не знаю. Но да будет вам известно, что зовут его Юхан Арндт Хапполати, если судить по инициалам.

– Юхан Арндт Хапполати, – повторил старик, несколько озадаченный моей горячностью.

И умолк.

– Вы бы посмотрели на его жену, – продолжал я вне себя. – Это такая толстуха… Вы, может быть, не верите, что она толста?

Нет, этого он, конечно, не мог отрицать; у такого господина вполне могла быть толстая жена…

На каждую мою выходку старик отвечал кротко и тихо, взвешивал слова, точно боялся сказать лишнее и рассердить меня.

– Что за черт, вы, верно, думаете, что я морочу вам голову? – вскричал я вне себя. – Вы, верно, думаете, что господина по фамилии Хапполати и на свете нет? Первый раз в жизни вижу такого упрямого и противного старика! Какая муха вас укусила? Вы еще, чего доброго, приняли меня за нищего, который надел праздничное платье, а у самого даже сигаретки нет? Я не привык к такому обращению, смею вас заверить, и, ей же богу, ни от кого этого не стерплю, так и знайте!

Старик тем временем встал. Он стоял, разинув рот, и молча слушал мою тираду, потом схватил свой сверток со скамейки и пошел, почти побежал по дорожке мелким старческим шагом.

А я все сидел и смотрел, как он удаляется и спина его горбится все сильней. Не знаю, откуда взялось это впечатление, но мне показалось, что я никогда еще не видел такой постыдной, такой ничтожной спины, и мне было ничуть не совестно, что я обругал его напоследок…

Уже вечерело, солнце садилось, тихонько шелестела листва деревьев, и няньки, сидевшие у загородки, за которой выступали канатоходцы, собирались везти своих младенцев домой. Я был спокоен и невозмутим. Мое недавнее волнение мало-помалу улеглось, я ослабел, почувствовал вялость, мне захотелось спать; и хотя в тот день я съел слишком много хлеба, последствия этого уже почти не чувствовались. В наилучшем расположении духа я откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза; спать хотелось все сильнее, я клевал носом и совсем уж было уснул, но тут сторож положил мне руку на плечо и сказал:

– Здесь спать нельзя.

– Да, конечно, – сказал я и тотчас же поднялся.

И тут же положение мое вновь представилось мне совершенно безнадежным. Нужно было что-то сделать, что-то придумать! Мне не удалось найти места; рекомендации, которые я представлял, были давнишние, и под ними стояли подписи никому не известных людей, так что на них надеяться не приходилось; к тому же я столько раз за это лето получал отказы, что потерял всякую уверенность в себе. Но как бы то ни было, я не уплатил в срок за квартиру, и эти деньги должен был где-то добыть. Остальное могло пока оставаться по-прежнему.

Машинально я снова взял в руки карандаш и бумагу, сел и написал в каждом углу листа: «1848». Если б хоть одна вдохновенная мысль овладела мною и подсказала мне слова! Ведь бывали же раньше, да, бывали такие минуты, когда я безо всякого труда мог сочинить длинную и блестящую статью.

Я сижу на скамейке и все вывожу на бумаге: «1848», я пишу это число вдоль и поперек, на тысячу разных ладов, и жду, не осенит ли меня спасительное вдохновение. Какие-то отрывочные мысли роятся в голове, гаснущий день навевает уныние и грусть. Осень уже пришла и начинала сковывать все сном, мухи и насекомые ощутили на себе ее дыхание, в листве деревьев и на земле слышен шорох – это не хочет покориться жизнь, она беспокойна, шумна, неугомонна, она не щадит сил в своей борьбе против умирания. Все ползучие твари снова высовывают желтые головы из мха, шевелят конечностями, ощупывают землю длинными усиками, а потом вдруг падают, опрокидываются кверху лапками. Всякая былинка принимает особенный, неповторимый оттенок под дыханием первых холодов; бледные стебельки тянутся к солнцу, опавшие листья шуршат на земле, словно шелковичные черви. Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив.

Я сам чувствовал себя словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира. Охваченный непостижимым страхом, я вскочил и большими шагами забегал по дорожке. «Нет! – крикнул я и стиснул кулаки. – Так продолжаться не может!» И снова сел, взялся за

карандаш, решившись во что бы то ни стало написать статью. Я не имел права опускать руки – счет за квартиру маячил у меня перед глазами.

Медленно, очень медленно, мысли мои приходили в порядок. Я сосредоточился и не спеша, взвешивая каждое слово, написал две вводные страницы; они могли стать введением к чему угодно – к путевым заметкам или к политическому обзору, как мне заблагорассудится. Это было превосходное начало и к тому и к другому.

Потом я начал искать подходящее содержание – кого-нибудь или что-нибудь такое, о чем стоило бы написать, и ничего не мог найти. От этого бесполезного усилия мои мысли снова начали путаться, я почувствовал, как мозг отказывается работать, голова все пустеет, пустеет, и вот я снова совсем не чувствую ее на плечах. Эту зияющую пустоту в голове я ощущаю всем своим существом, мне кажется, что весь я пуст с головы до ног.

– Господи, Боже ты мой! – воскликнул я в отчаянии, а потом повторил этот возглас еще и еще, не в силах больше вымолвить ни слова.

Ветер шумел в листве, надвигалось ненастье. Я посидел еще немного, задумчиво глядя на бумагу, потом сложил ее и не спеша спрятал в карман. Стало холодно, а у меня теперь не было жилета; я застегнул куртку до самого верха и сунул руки в карманы. Потом встал и пошел.

Хоть бы в этот раз мне посчастливилось, в этот единственный раз! Хозяйка уже дважды смотрела на меня, безмолвно требуя денег, а я вынужден был, смущенно поклонившись, прошмыгнуть мимо. Больше я так не могу; когда она снова бросит на меня такой взгляд, я честно признаюсь во всем и откажусь от квартиры, ведь все равно дальше так нельзя.

Дойдя до выхода из парка, я снова увидел старичка, который убежал, испуганный моей яростью. Таинственный сверток был развернут и лежал подле него на скамейке, – там оказалась всякая снедь, и он закусывал. Я хотел подойти к нему и извиниться за свое поведение, но не мог – так отвратительно он ел; морщинистые старческие пальцы, словно десять отвратительных когтей, впивались в жирные бутерброды, я почувствовал, что меня тошнит, и молча прошел мимо. Он не узнал меня, его глаза скользнули по мне, и ни один мускул в лице не дрогнул.

Я пошел дальше.

По своему обыкновению, я останавливался перед каждой вывешенной газетой, читал объявления о найме на работу и, когда нашел одно подходящее место, очень обрадовался: торговец на Грёнланслерет ищет счетовода для двухчасовой вечерней работы; плата по соглашению. Я записал адрес и про себя возблагодарил Бога; я соглашусь на самую ничтожную плату, мне хватит и пятидесяти эре, хватит даже сорока; я пойду на какие угодно условия.

Когда я вернулся домой, на моем столе лежала записка от хозяйки, в которой она требовала либо уплатить за комнату вперед, либо освободить ее как можно скорее. Она просила не сердиться, – ей нельзя иначе. С совершенным почтением мадам Гуннерсен.

Я написал письмо торговцу Кристи, Грёнланслерет, 31, положил его в конверт и бросил в ящик на углу. Потом я снова поднялся к себе, сел в качалку и задумался, а сумерки меж тем все сгущались. Тяжелая усталость одолевала меня.

* * *

Наутро я проснулся рано. Когда я открыл глаза, было еще совсем темно, и лишь через некоторое время я услышал, как внизу пробило пять. Я хотел уснуть снова, но сон не приходил, я не мог даже задремать, тысячи мыслей лезли в голову.

Вдруг мне пришло на ум несколько хороших фраз, годных для очерка или фельетона, – прекрасная словесная находка, какой мне еще никогда не удавалось сделать. Я лежу, повторяю эти слова про себя и нахожу, что они превосходны. Вскоре за ними следуют другие, я вдруг совершенно просыпаюсь, встаю, хватаю бумагу и карандаш со стола, который стоит в ногах моей кровати. Во мне как будто родник забил, одно слово влечет за собой другое, они связно

ложатся на бумагу, возникает сюжет; сменяются эпизоды, в голове у меня мелькают реплики и события, я чувствую себя совершенно счастливым. Как одержимый исписываю я страницу за страницей, не отрывая карандаша от бумаги. Мысли приходят так быстро, обрушиваются на меня с такой щедростью, что я упускаю множество подробностей, которые не успеваю записать, хотя стараюсь изо всех сил. Я полон всем этим, весь захвачен темой, и всякое слово, написанное мною, словно изливается само по себе.

Это изумительное состояние длится, длится бесконечно долго; и когда я наконец прерываюсь и откладываю карандаш, на моих коленях лежат пятнадцать, а то и все двадцать исписанных страниц. Если только эти листки действительно чего-нибудь стоят, я спасен! Я вскакиваю с постели и одеваюсь. Все больше и больше светает, уже почти можно прочесть объявление смотрителя маяка у двери, а подле окна уже так светло, что писать – одно удовольствие. И я тотчас принимаюсь переписывать бумаги набело.

Мои фантазии облечены удивительной, плотной дымкой, сотканной из света и красок; я едва успеваю удивляться своим удачам и говорю себе, что лучше этого еще ничего не читал. Счастье пьянит меня, радость пылает в моей душе, я торжествую победу; взвесив пачку листков на руке, я тут же оцениваю их в пять крон, по самому примерному подсчету. Ведь о пяти кронах никто не станет торговаться, напротив, можно смело сказать, что, учитывая содержание моей рукописи, даже десять крон – ничтожная цена. Я не собирался делать столь исключительную работу даром; сколько мне известно, такие романы не валяются на дороге. И я решил просить десять крон.

В комнате становилось все светлее, я взглянул в сторону двери и без особенного труда прочел тонкие, похожие на скелеты буквы, возвещающие, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван»; к тому же часы внизу уже довольно давно пробили семь.

Я отошел от окна и остановился посреди комнаты. Если все хорошенько взвесить, мадам Гуннерсен весьма кстати отказала мне. Эта комната вовсе не для меня; здесь такие простенькие зеленые занавески на окнах, а в стены вбито так мало гвоздей и некуда вешать одежду. Качалка в углу, по сути дела, лишь пародия, жалкое подобие качалки, смех, да и только. Кроме того, она слишком низка для взрослого и до такой степени узка, что из нее приходится самого себя вытаскивать, словно ногу из тесного сапога. Одним словом, эта комната не для умственной работы, и я не хотел здесь оставаться. Ни в коем случае не хотел! Слишком долго я молчал, терпел и томился в этой каморке.

Окрыленный надеждой и радостью, все еще полный мыслей о замечательном сочинении, которое я то и дело вытаскивал из кармана и перечитывал, я решил, не теряя времени, собирать вещи. Я достал узелок – пару чистых воротничков, завернутых в красный носовой платок, и скомканную газетную бумагу, в которой я приносил домой хлеб, скатал свое одеяло, прихватил весь свой запас писчей бумаги. Потом я предусмотрительно обшарил все углы, чтобы убедиться, не забыл ли я чего-нибудь, и, не найдя ничего, выглянул в окно. Утро выдалось пасмурное и сырое; у сгоревшей кузницы не было ни души, а отсыревшая веревка на дворе туго натянулась от стены к стене. Все это я видел и раньше, поэтому я отошел от окна, взял одеяло под мышку, поклонился объявлению смотрителя маяка, а также савану йомфру Андерсен, и отворил дверь.

Тут я вспомнил про хозяйку; ведь нужно было уведомить ее об отъезде, пусть знает, что имела дело с порядочным человеком. Кроме того, мне хотелось поблагодарить ее в записке за те несколько дней, что я пользовался комнатой сверх срока. Сознание, что теперь я на некоторое время обеспечен, было так сильно, что я даже пообещал хозяйке в ближайшие дни занести пять крон; мне хотелось подчеркнуть, какой благородный человек жил под ее кровом.

Записку я оставил на столе.

У двери я снова остановился и обернулся назад. Светлое чувство возвращения к жизни возродило меня, я был благодарен Богу и всему миру, я опустился на колени у кровати и громко возблагодарил Творца за великую милость, которую он ниспослал мне в это утро. Я знал, да, знал, что этот порыв вдохновения, который я только что пережил и перенес на бумагу, был чудом, свершившимся в моей душе по воле неба, откликом на мой вчерашний крик о помощи. «Там Господь! Там Господь!» – восклицал я и плакал, радостно умиленный собственными словами; по временам мне приходилось умолкать и прислушиваться, не идет ли кто наверх. Наконец я встал, неслышно спустился с длинной лестницы и, никем не замеченный, добрался до парадной двери.

Мостовые блестели от дождя, выпавшего ранним утром, над городом нависло тяжелое и низкое небо, солнце не проглядывало сквозь тучи. Который был час? По своему обыкновению, я пошел к ратуше и увидел, что на часах половина девятого. Значит, мне предстояло бродить добрых два часа, ведь не имело смысла являться в редакцию до десяти или даже до одиннадцати, а покуда приходилось шататься по улицам и на досуге придумывать, как раздобыть чего-нибудь на завтрак. Впрочем, я не боялся в тот вечер остаться без ужина; те времена, славу Богу, миновали! Это уже пережито, кончилось, как дурной сон; теперь мои дела пошли в гору!

Под мышкой у меня было зеленое одеяло, и от этого я чувствовал себя неловко: просто немыслимо носить такой сверток на виду у всех. Что подумают люди? Я стал подыскивать местечко, где можно было бы оставить его на время. Вдруг мне пришло в голову, что я могу зайти к Сеубу и попросить завернуть одеяло в бумагу; мой сверток тотчас примет приличный вид, и мне нечего будет стыдиться. Я зашел в магазин и обратился со своей просьбой к одному из приказчиков.

Он взглянул сперва на одеяло, потом на меня; мне показалось, что он презрительно пожал плечами, принимая сверток. Это меня задело.

– Осторожней, черт побери! – воскликнул я. – Тут завернуты две драгоценные вазы. Эта посылка будет отправлена в Смирну.

Моя уловка удалась как нельзя лучше. Теперь у приказчика был виноватый вид, он словно молил простить его за то, что он не сразу сообразил, какой это ценный сверток. Когда он закончил свое дело, я поблагодарил его с таким видом, словно уже не раз отсылал в Смирну всякие драгоценности; приказчик даже проводил меня до порога и распахнул передо мной дверь.

Я отправился на рыночную площадь и стал бродить в толпе, стараясь держаться поближе к женщинам, которые продавали цветы в горшках. Тяжелые красные розы, влажно алевшие в сыром утреннем воздухе, дразнили меня, вызывали искушение сорвать один цветок, и я спрашивал о цене, пользуясь предлогом подойти поближе. Будь у меня деньги, я купил бы розу не задумываясь; чтобы возместить такую трату, я мог бы в чем-нибудь урезать себя.

Десять часов, иду в редакцию. Человек с ножницами роется в куче старых газет, редактор еще не приходил. Он предлагает мне оставить мою пухлую рукопись, а я даю ему понять, что это не простая рукопись, и убедительно прошу передать ее в собственные руки редактора. Позднее я сам зайду за ответом.

– Ладно! – сказал Человек-Ножницы и снова принялся за свои газеты.

Мне показалось, что он отнесся к делу слишком спокойно, но я промолчал, с притворным равнодушием кивнул ему и ушел.

Теперь у меня было много свободного времени. Хоть бы небо прояснилось! Погода омерзительная – ни ветра, ни мороза; дамы предусмотрительно раскрыли зонтики, а шляпы на головах у мужчин имеют смешной и печальный вид. Я снова иду на рынок, рассматриваю зелень и розы. Вдруг кто-то кладет мне руку на плечо, и я оборачиваюсь – это «Красная девица» желает мне доброго утра.

– Доброе утро? – повторил я полувопросительно, желая поскорей от него отвязаться. Я недолюбливал «Красную девицу».

Он с любопытством смотрит на большой, аккуратный сверток у меня под мышкой и спрашивает:

– Что это у вас?

– Я был у Семба и купил кое-что на платье, – безразличным тоном отвечаю я. – Мне надоело ходить в такой поношенной одежде. Нельзя же без конца пренебрегать своей внешностью.

Он смотрит на меня с изумлением.

– Ну а вообще как дела? – спрашивает он, помолчав.

– Лучшего и желать нельзя!

– Нашли себе какое-нибудь занятие?

– Занятие? – повторяю я с нарочитым удивлением. – Да будет вам известно, что я служу бухгалтером в оптовой фирме Кристи.

– Вот как! – говорит он, попятившись. – Ах ты Господи, до чего же я рад за вас. Глядите же не раздавайте денег всяким попрошайкам. Всего доброго.

Отойдя немного, он снова возвращается, указывает палкой на мой сверток и говорит:

– Позвольте рекомендовать вам моего портного. Более элегантного портного, чем Исаксен, вам не сыскать. Скажите, что вы от меня.

И зачем ему понадобилось совать нос в мои дела? Что ему до того, к какому портному я пойду? Я рассердился; этот пустой расфранченный человек раздражал меня, и я довольно грубо напомнил ему о десяти кронах, которые он как-то у меня занял. Но не успел он ответить, как я раскаялся, что потребовал у него долг, смутился и опустил глаза; в это время мимо нас проходила дама, я отступил, чтобы пропустить ее, и воспользовался случаем уйти.

Куда мне деваться, где ждать? Идти в кофейню с пустым карманом я не мог, и к знакомым в это время дня нельзя было зайти. Я бесцельно побрел по городу, между рынком и Гренсеном, прочитал «Вечерние новости», только что вывешенные на доске, прошелся по улице Карла-Юхана, потом повернул и направился к храму Спасителя, где нашел спокойное местечко на кладбище, подле часовни.

Воздух здесь был влажный, я сидел в тишине, думал, задремывал и зяб. Время шло. Можно ли быть уверенным, что мой фельетон – это хоть и маленький, но вдохновенный шедевр? Бог знает, нет ли в нем ошибок! Если подумать хорошенько, его ведь могут вовсе не принять, просто-напросто же принять! Пожалуй, он попросту посредственный, а то и безнадежно плохой, кто мне поручится, что его уже не швырнули в корзину для бумаги?.. Мое душевное спокойствие было нарушено, я вскочил и бросился прочь с кладбища.

На Акерсгатен я заглянул через витрину в лавку и увидел, что на часах только начало первого. Это меня вконец расстроило, ведь я был уверен, что уже далеко за полдень, а идти к редактору раньше четырех было бесполезно. Меня одолевали мрачные предчувствия относительно судьбы моего фельетона; чем больше я думал об этом, тем мне представлялось невероятнее, что я мог написать нечто сносное в таком порыве, почти во сне, когда мой мозг лихорадило и мысли блуждали. То был, конечно, просто самообман, и все утро я радовался зря! Еще бы!.. Я быстро шел по Уллевольсвейен, мимо холма Святого Генриха, миновал пустыри, зашагал по узким странным улицам, прилегающим к лесопилке, мимо строек и огородов и очутился наконец на большой дороге, которой не видно было конца.

Здесь я остановился и решил повернуть назад. Ходьба согрела меня, и назад я шел медленно, повесив нос. Мне встретились два воза с сеном. Возчики лежали навзничь на сене и пели, оба босые, с круглыми, беспечными лицами. Идя им навстречу, я думал, что они заговорят со мной, отпустят какое-нибудь замечание или начнут смеяться, и, когда я подошел к ним довольно близко, один из них громко осведомился, что у меня под мышкой.

– Одеяло, – ответил я.

– Который час? – спросил он.

– Точно не знаю, наверно, около трех.

Тогда оба засмеялись и поехали дальше. Но вдруг меня ожгла боль от удара кнутом по уху, и шляпа слетела с головы; эти парни не могли удержаться, чтобы не подшутить надо мною. Возмущенный, я схватился за ухо, подобрал шляпу на краю канавы и пошел прочь. У холма Святого Генриха я спросил у встречного, сколько времени, и он ответил, что уже пятый час.

Пятый час! Уже пятый час! Я прибавил шагу, почти бегом поспешил в редакцию. Редактор, пожалуй, давно там, а может быть, даже уже ушел! Я то брел медленно, то бежал, едва не попадая под колеса, обгонял прохожих, мчался взапуски с лошадьми, выбивался из сил как безумный, только бы успеть вовремя. Вбежав в здание, я несколькими прыжками одолел лестницу и постучал в дверь.

Ответа не было.

«Он ушел! Ушел!» – думаю я. Я дергаю дверь, она не заперта, стучу еще раз и вхожу.

Редактор сидит за столом, лицом к окну, в руке у него перо, он что-то пишет. Я здороваюсь, с трудом переведя дух, он оборачивается, глядит на меня и качает головой.

– У меня еще не было времени просмотреть ваш очерк.

Я рад, что он по крайней мере пока не отверг мою работу, и говорю:

– Ну конечно, я же понимаю. Да это и не к спеху. Может быть, зайти дня через два или…

– Да, да, я погляжу. Впрочем, у меня ведь есть ваш адрес.

И тут я забыл сказать, что у меня больше нет никакого адреса.

Аудиенция кончилась, я с поклонами отступаю назад и ухожу. Душа моя снова полна надежды: еще ничего не потеряно, напротив, я еще могу многого добиться, если уж на то пошло. И в голове у меня рождаются всякие фантазии, мне мнится, что у престола Всевышнего решено вознаградить меня за мой фельетон десятью кронами…

Только бы мне найти какое-нибудь пристанище на ночь! Я раздумываю, где мне лучше всего заночевать; этот вопрос так занимает меня, что я останавливаюсь посреди улицы. Я забываю, где я, стою, как одинокий бакен в море, а вокруг плещут и бушуют волны. Газетчик протягивает мне «Викинга». Любопытно, очень любопытно! Я поднимаю голову и вздрагиваю – передо мной снова магазин Семба.

Я быстро поворачиваюсь, стараюсь скрыть сверток и, растерянный, спешу к церкви, боясь, как бы меня не увидели из окон. Я миную Ингебрет, прохожу мимо театра, у Логена сворачиваю и направляюсь в сторону набережной, к форту. Отыскав свободную скамейку, я снова погружаюсь в размышления.

Где мне найти пристанище на ночь? Нет ли какой-нибудь дыры, где я мог бы укрыться до утра? Гордость не позволяла мне вернуться назад, в прежнюю свою комнату; я и мысли не допускал о том, чтобы отказаться от своих слов, я с негодованием отмахнулся от этого и лишь смущенно улыбнулся, представив себе маленькую красную качалку. Волею воображения я вдруг очутился в большой, с двумя окнами, комнате на Хегдехауген, где когда-то жил: на столе я увидел поднос со множеством бутербродов внушительного вида, а потом он превратился в бифштекс – соблазнительный бифштекс, рядом появилась белоснежная салфетка, груды хлеба, серебряная вилка. И отворилась дверь: вошла моя хозяйка, она предложила мне еще чашечку чаю…

Пустые видения и сны! Я стал внушать себе, что, если б я теперь добыл еды, голова моя снова пришла бы в расстройство, мне пришлось бы бороться с тою же самой лихорадкой в мыслях, с наплывом безумных фантазий. Таков уж я был, еда приносила мне вред; это была моя странность, мое особенное свойство.

Может статься, я еще найду себе пристанище попозже, перед вечером. Спешить некуда: на худой конец, отыщу местечко где-нибудь в лесу, все городские окрестности к моим услугам, и мороза нет.

А море замерло в тяжкой неподвижности, корабли и неуклюжие, тупоносые буксиры бороздили его свинцовую гладь, вспенивали воду с обоих бортов, плыли все вперед, дым,

словно пух, летел из труб, стучали машины, сотрясая глухими ударами промозглый воздух. Небо застилали тучи, было безветренно, деревья у меня за спиной казались мокрыми, а скамейка подо мной была сырая и холодная. Время шло; я начал задремывать, появилась усталость, холодок пробежал по спине; вскоре я почувствовал, что глаза у меня совсем слипаются. И я смежил веки…

Когда я проснулся, было уже темно; одурелый спросонья и озябший, я вскочил, схватил свой сверток и пошел прочь. Я шел все быстрее и быстрее, чтобы согреться, махал руками, потирал ноги, которые у меня словно отнялись, и очутился у пожарной каланчи. Было девять; я проспал несколько часов.

Куда же мне деваться? Нужно найти место для ночлега. Я стою, гляжу на пожарное депо и соображаю, не удастся ли проскользнуть в какую-нибудь дверь, выждав, когда охранник зазевается. Я поднимаюсь по ступенькам и пробую завязать с ним разговор, он тотчас же берет свой топорик на караул и готов меня слушать. Этот поднятый топорик, обращенный ко мне холодным лезвием, словно рубит меня по нервам, я немею от страха перед вооруженным человеком и невольно отступаю. Я молчу, только отступаю все дальше и дальше; спасая достоинство, я провожу рукою по лбу, словно забыл что-то, и отхожу. Очутившись снова на тротуаре, я чувствую облегчение, как будто в самом деле избежал серьезной опасности. И спешу прочь.

Холодный и голодный, все больше падая духом, поплелся я по улице Карла-Юхана; при этом я громко ругался, не беспокоясь, что кто-нибудь может это услышать. У здания стортинга, подле первого льва, опять-таки волею воображения, я вспоминаю знакомого художника, молодого человека, которого однажды спас в Тиволи от пощечины, а потом как-то заходил к нему. Весело щелкнув пальцами, я отправляюсь на Турденшёльгатен, отыскиваю дверь с табличкой: «К. Захария Бартель» и стучусь.

Он сам открыл дверь; от него омерзительно пахло пивом и табаком.

– Добрый вечер! – сказал я.

– Добрый вечер! Это вы? Черт возьми, что это вам вздумалось пожаловать ко мне так поздно? Ведь при лампе на моей картине решительно ничего не видно. Со времени вашего прошлого посещения я пририсовал стог сена и кое-что переделал. Приходите днем, а сейчас смотреть нет никакого смысла.

– Все-таки позвольте взглянуть! – сказал я. Впрочем, я не помнил, о какой картине шла речь.

– Это невозможно! – отвечал он. – Все будет казаться желтым! И кроме того… – Понизив голос до шепота, он подошел ко мне вплотную. – Сегодня у меня девушка, так что я никак не могу.

– Ну, в таком случае и толковать не о чем.

Я попятился, пожелал ему доброй ночи и ушел.

Оставалось только одно – идти в лес. Ах, если б земля была не такой сырой! Я поглаживал свое одеяло и понемногу свыкался с мыслью, что буду ночевать под открытым небом. Поиски ночлега в городе были столь долгими и мучительными, что я устал, мне все опротивело; так сладостно было почувствовать успокоение, смириться и плестись по улице без единой мысли в голове. Проходя мимо университета, я поднял голову, увидел, что уже одиннадцатый час, и направился к окраине. На Хегдехауген я остановился перед съестной лавкой, у витрины. Рядом с французской булкой спала кошка, тут же была жестянка со свиным салом и стеклянные банки с крупой. Я постоял немного, глядя на это изобилие, но так как денег у меня не было, отвернулся и продолжал путь. Я шел очень медленно, миновал заставу, побрел дальше, все дальше, час за часом, и наконец добрался до пригородного леса.

Здесь я свернул с дороги и присел отдохнуть. Потом стал искать какое-нибудь мало-мальски подходящее место, собрал вереску и можжевельника, устроил постель на маленьком пригорке, где было чуть посуше, развернул свой пакет и вынул одеяло. Я смертельно устал после

долгого пути и тотчас же лег. Много раз я ворочался и ерзал, покуда не устроился наконец поудобнее; ухо у меня слегка побаливало, оно даже распухло от удара кнутом, и я мог лежать только на одном боку. Башмаки я снял и положил под голову, завернув в бумагу от Семба.

Все вокруг было погружено в темноту, стояла тишина, полнейшая тишина. Лишь в высоте звучала вечная песня воздушных стихий, далекий, монотонный гул, который никогда не смолкает. Я так долго прислушивался к этому бесконечному, тоскливому звучанию, что мне сделалось не по себе; ведь это была музыка блуждающих миров, мелодия звезд…

– Нет, это, наверно, дьявольское наваждение! – сказал я и, чтобы ободриться, громко засмеялся. – Это филины кричат в земле Ханаанской!

Я встал, лег и снова встал, надел башмаки, принялся бродить в темноте, потом опять лег и до самого рассвета боролся с ожесточением и страхом, лишь под утро сон наконец одолел меня.

Когда я открыл глаза, было уже совсем светло, и я почувствовал, что время близится к полудню. Я надел башмаки, снова завернул одеяло в бумагу и пошел обратно в город. Солнце, подобно вчерашнему, скрывали тучи, и я мерз, как собака; ноги у меня окоченели, а глаза слезились, словно ослепленные дневным светом.

Оказалось, что уже три часа. Голод терзал меня все сильней, я ослаб. Я шел, временами чувствуя тошноту. Потом свернул к общественной столовой, прочитал меню, вывешенное на доске, и выразительно пожал плечами, словно терпеть не мог говядину и свинину; отсюда я отправился на вокзальную площадь.

Голова моя сильно кружилась; я шел дальше и старался не обращать на это внимания, но она кружилась все сильней, и наконец мне пришлось присесть на лестнице. Все внутри меня переменилось, словно бы сдвинулось с места, или какая-то завеса, какая-то ткань лопнула у меня в мозгу. Раза два я чуть не задохнулся, и сидел пораженный. Я не терял сознания, я определенно чувствовал, как у меня со вчерашнего дня побаливало ухо, и когда мимо прошел знакомый, я тотчас узнал его, встал и поклонился.

Что это за новое, мучительное ощущение добавилось теперь к остальным? Неужели дело в том, что я спал на сырой земле? Или же я чувствую себя так потому, что еще не завтракал? Вообще говоря, не имело смысла влачить столь жалкую жизнь; видит Бог, я решительно не понимал, за что мне ниспослано это наказание! И я подумал, что очень даже просто могу стать прощелыгой, могу снести в заклад одеяло. Я получу за него крону, и этого мне хватит трижды плотно пообедать, я продержусь сколько возможно, пока не подвернется что-нибудь другое; а Ханса Паули я как-нибудь обману. Я уже направился к процентщику, но остановился перед дверью, в раздумье покачал головой и повернул назад.

Чем дальше я уходил, тем радостнее становилось мне от мысли, что я преодолел это тяжкое искушение.

Я думал о том, что остался честным человеком, что у меня твердая воля, что я, как яркий маяк, возвышаюсь над мутным людским морем, где плавают обломки кораблекрушений, и это исполняло меня гордости. Заложить чужую вещь, только чтобы пообедать, угрызаться совестью из-за каждого куска, ругать себя прощелыгой, стыдиться перед самим собой – нет, никогда! Никогда! Такая мысль не могла прийти мне всерьез, ее, можно сказать, вовсе и не было; а за случайные, мимолетные мыслишки человека винить нельзя, в особенности когда нестерпимо болит голова и до смерти устаешь все время таскать с собой чужое одеяло.

Рано или поздно непременно найдется какой-нибудь выход! Вот, скажем, этот торговец на Грёнланслерет, я предложил ему свои услуги письмом, но разве я обивал его порог? Разве звонил по телефону с утра до ночи и получал отказы? Я просто-напросто не пришел к нему, потому и не знаю ответа. Быть может, из этого выйдет что-нибудь, быть может, на этот раз

счастье мне улыбнется; пути счастья сплошь и рядом неисповедимы. И я отправился на Грёнланслерет.

Последняя встряска меня обессилила, я едва плелся и придумывал, что мне сказать этому торговцу. Наверное, у него добрая душа; если он будет в хорошем настроении, то охотно даст мне крону вперед за работу, даже просить не придется; у подобных людей часто бывают премилые чудачества.

Я проскользнул в ворота, смочил слюною свои брюки на коленях, чтобы придать им более приличный вид, сунул одеяло за ящик в темный угол, пересек наискось улицу и вошел в лавку.

Внутри какой-то человек клеил пакеты из старых газет.

– Мне хотелось бы видеть господина Кристи.

– Это я и есть, – отозвался он.

Вот как! А я такой-то, имел честь письмом предложить ему свои услуги и вот хочу узнать, можно ли мне на что-нибудь рассчитывать?

Он несколько раз повторил мое имя и рассмеялся.

– Не соблаговолите ли полюбоваться, как вы оперируете числами, сударь? Вы пометили ваше письмо тысяча восемьсот сорок восьмым годом.

И он захохотал во всю глотку.

– Да, это не очень хорошо, – смущенно сказал я. – Готов признать, я несколько рассеян, невнимателен.

– Мне, да будет вам известно, нужен человек, который никогда не делает ошибок в числах, – сказал он. – А право, жаль, у вас такой четкий почерк, и вообще ваше письмо мне понравилось, но…

Я подождал немного; мне трудно было поверить, что это его последнее слово.

Он снова занялся своими пакетами.

– Да, это досадно, очень досадно, но поверьте, такое никогда больше не повторится, ведь нельзя же из-за легкой описки считать меня совершенно непригодным к работе счетовода?

– Я этого и не считаю, – ответил он. – Но в ту минуту я придал этому такое значение, что тотчас взял другого.

– Стало быть, место занято? – спросил я.

– Да.

– Ах ты Господи, значит, ничего не поделаешь!

– Ровным счетом. Мне очень жаль, но…

– Прощайте! – сказал я.

Звериная ярость овладела мной. Я схватил свое одеяло в подворотне, стиснул зубы, толкал мирных людей на улице и не извинялся. Когда какой-то господин остановился и сделал мне строгое замечание, я повернул к нему голову и выкрикнул ему прямо в ухо какую-то бессмыслицу, потряс кулаками перед самым его носом и пошел дальше, ослепленный бешенством, с которым не в силах был совладать. Он позвал полицейского, и в это мгновение мне больше всего захотелось затеять с полицейским драку, я умышленно замедлил шаг, чтобы меня могли нагнать; но его не было. Что толку, если все самые горячие, самые решительные попытки что-то предпринять оканчивались неудачей? Почему я написал 1848? На что сдался мне этот проклятый год? Теперь я был так голоден, что у меня сводило кишки, причем не приходилось и надеяться, что в этот день я раздобуду хоть немного еды. С течением времени все более сильное опустошение, душевное и телесное, завладевало мною, с каждым днем я все чаще поступался своей честностью. Я лгал без зазрения совести, не уплатил бедной женщине за квартиру, мне даже пришла в голову преподлая мысль украсть чужое одеяло – и никакого раскаяния, ни малейшего стыда. Я разлагался изнутри, во мне разрасталась какая- то черная плесень. А там, на небесах, восседал Бог и не спускал с меня глаз, следил, чтобы моя погибель наступила по всем правилам, медленно, постепенно и неотвратимо. Но в преисподней метались злобные

черти и рвали на себе волосы, оттого что я так долго не совершал смертного греха, за который Господь по справедливости низверг бы меня в ад…

Я прибавил шагу, почти побежал, неожиданно свернул налево и в яростном негодовании очутился перед ярко освещенным, красивым подъездом; я не остановился, не опомнился ни на минуту; но удивительная пышность подъезда мгновенно запечатлелась в моей памяти, каждая мелочь, все украшения стояли перед моим внутренним взором, пока я бежал вверх по лестнице. Во втором этаже я резко позвонил. Почему я остановился именно во втором этаже? И почему схватился за самый дальний от лестницы звонок?

Молодая дама в сером платье с черной отделкой отворила дверь; некоторое время она изумленно смотрела на меня, потом покачала головой и сказала:

– Нет, сегодня у нас ничего нет.

И хотела закрыть дверь.

Почему именно ей суждено было оказаться на моем пути? Она приняла меня за нищего, а я вдруг стал хладнокровен и спокоен. Я снял шляпу, почтительно поклонился и, как будто не расслышав ее слов, сказал с крайней учтивостью:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.